

«КНИЖНОСТЬ» И «ЖИЗНЬ» В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» ДОСТОЕВСКОГО*

*Работа представлена кафедрой истории русской литературы,
теории и методики преподавания литературы
Воронежского государственного педагогического университета.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор С. В. Савинков*

«Записки из подполья» – произведение, продолжающее линию героя-мечтателя в творчестве Достоевского. В статье рассматривается взаимосвязь в «Записках из подполья» таких типичных для сознания мечтателя свойств, как идеологичность, мечтательность и книжность. Также устанавливается характер отношений этих качеств сознания героя-мечтателя к жизни.

Ключевые слова: *идея, мечта, книжность, жизнь, действительность, сознание.*

S. Kosyakov

“BOOKISHNESS” AND “LIFE” IN “NOTES FROM UNDERGROUND”
BY DOSTOYEVSKY

“Notes from Underground” continued the line of a hero-dreamer in Dostoyevsky’s creative work. The article is devoted to the correlation of such characteristics, typical of a dreamer’s consciousness, as ideology, dreaminess and bookishness. The character of relations of these qualities and life is established.

Key words: *idea, dream, bookishness, life, reality, realisation.*

«Записки из подполья» открывают новый этап в творчестве Достоевского. Подпольный человек происходит от тех мечтателей в творчестве Достоевского, которые появлялись в «Белых ночах», «Хозяйке» и некоторых других ранних произведениях писателя. В герое «Записок из подполья» мечтательство переходит в другую форму. «Между «мечтательством» и «подпольем» была очень тонкая перегородка. Стоило перейти это незаметное «чуть-чуть», как герой-«мечтатель» становился «подпольным парадоксалистом» [3, с. 16]. Подпольный человек появляется в 1861 г. По утверждению самого героя «Записок...» он находится в подполье 20 лет, следовательно, сам переход осуществился в начале 1840-х гг., когда Достоевским создавались «Белые ночи», «Хозяйка».

С «Записок из подполья» герой-мечтатель Достоевского начинает оперировать идеями. И ему необходимы силы и характер, которых

не было у ранних мечтателей, чтобы воплотить идеи в жизнь. «Достоевский видит изъян своих сентиментальных мечтателей не в позиции, а в том, что им не хватает силы на то, чтобы сделать эту позицию постоянным жизненным принципом» [4, с. 35]. Но сам подпольный человек, как и ранние мечтатели, остается существом бесхарактерным, отчужденным от жизни *не-деятелем*. «Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, – существом по преимуществу ограниченным» [2, т. 5, с. 100].

Каковы же причины отчуждения от жизни подпольного человека? Этот герой обижен на жизнь. Раздражающими факторами для него становятся законы физики и математики («стена» в его терминологии), офицер, гремящий саблей, вследствие чего он *идеологически* не может принять жизнь.

Другая причина невхождения в жизнь подпольного героя – поглощенность рефлексией, теоретическим отношением к жизни. *Усиленное сознание* разлагает любые основания для действия до бесконечности. «Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого познания и мышления» [2, т. 5, с. 108].

Идеологичность является тем качеством подпольного человека, которое отделяет его от жизни. Все идеи и мнения, которыми оперирует в своих рассуждениях подпольный человек, суть *реакции* на жизнь его самости или его оппонентов. И все новые, представляемые подпольным человеком идеологии являются *инерцией реакции*.

Как реакции на жизнь идеи внутренне зависимы от нее. И выходом из этой полностью охватившей подпольного человека «реакционности» и зависимости от жизни могла бы быть легкая, возникающая из резервов души, подхватывающая жизнь в своем полете фантазия. И подпольный человек начинал мечтать.

Вместе с природой рационального, усиленно рефлектирующего существа в подпольном человеке уживается природа пылко тоскующего по жизни и деятельности мечтателя. «Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. <...> Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, *совсем готовой*

(какой именно я никогда не знал, но, главное, – совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке» [2, т. 5, с. 132].

И пресытившись мечтой, подпольный человек пытается удовлетворить жажду живой жизни. «Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству» [2, т. 5, с. 134].

Но дискретный ум подпольного человека не может долго вынести чувства общности, которое возникало в мечтательном состоянии. «Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высидывать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. <...> Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал желание обняться со всем человечеством» [2, т. 5, с. 134].

Невозможность начать жить и после мечтаний кроется в их порожденности *прошлым*. Совсем *готовая* деятельность, о которой мечтает герой подполья, может возникнуть из проекции *прошлого* опыта в будущее. При этом *настоящее*, в котором только и существует и жизнь, исчезает. Идеи, как и мечты, бегут формирующейся, неопределенной до конца действительности. Подпольный человек, живущий идеями и мечтами, становится способен к выражению этого побега от действительности – письму.

Письмо – занятие вполне мечтательное. Письмо для подпольного человека означает заполнение пустоты, которая возникает как следствие его образа жизни. Это пустота одиночества, пустота сознания, пустота со-

бытий. «А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?» [2, т. 5, с. 121]. «Но вот собственно что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? <...> В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. <...> Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа» [2, т. 5, с. 123].

Р. Джакуинта отмечает, что «Записки...» подпольного человека представляют собой род автобиографии, в которой «литературный замысел обладает первенством и живет самостоятельной жизнью, а выдуманные автором события как будто находят себе место в уже организованной повествовательной структуре...» [1, с. 11]. Подпольный человек «сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял (курсив мой. – С. К.), чтоб хоть как-нибудь да пожить» [2, т. 5, с. 108].

В рамках этой сочиняемой подпольным человеком жизни и развиваются события второй части «Записок...». «Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча, – не предупредив и не объяснившись, – переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. <...> Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную!*» [2, т. 5, с. 128]. Но в данном случае «литературный замысел» подпольному человеку не удается. «Я испугался того, что меня все присутствующие <...> не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным» [2, т. 5, с. 128, 129].

В истории встречи со школьными товарищами, когда подпольный человек стремится их догнать, отправляясь в публичный дом, главное значение имеет не само событие, а мысли и фантазии героя, вышиваемые по литературной канве. Он мечтает о том, что то-

варищи станут «на коленях умолять о дружбе» [2, т. 5, с. 149], о пощечине Зверкову, о драке, о дуэли, но выдуманность всего этого становится очевидна, когда он приходит в публичный дом и никого не застаёт. Его фантазии остаются пустыми, не соотносящимися никоим образом с действительностью.

История отношений подпольного человека с Лизой подобна историям ранних мечтателей и их женщин. Непосредственность женского начала выдает чрезмерную книжность героев-мечтателей. Похожим с Настенькиным восприятием монолога Мечтателя [2, т. 2, с. 114] образом Лиза реагирует на «заветные *идейки*» [2, т. 5, с. 155] подпольного человека: «– Чтой-то вы... – начала она вдруг и остановилась. <...> – Что? – спросил я с нежным любопытством. – Да вы... – Что? – Чтой-то вы... точно как по книге, – сказала она...» [2, т. 5, с. 158, 159].

В русле этой книжности и продолжают развиваться отношения подпольного человека с Лизой в дальнейшем. Непосредственное и наивное сознание Лизы оказываются куда ближе к пониманию правды, чем усиленная, но искусственная рефлексия подпольного героя. «Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив» [2, т. 5, с. 174].

Книжность завладевает подпольным человеком так, что он совершает противоземное для своей природы действие. «Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, *для приличия*, и отворотился от ее взгляда» [2, т. 5, с. 176]. «Но вот что я наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей

ФИЛОЛОГИЯ

головой. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, *книжная*, что я сам не выдержал даже минуты, – сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой» [2, т. 5, с. 177]. В этой сцене Достоевский пред-

ставляет тот внутренний конфликт героя-мечтателя, который получит развитие в судьбе Раскольникова. Как пишет по поводу данной сцены «Записок из подполья» Р. Джакуинта, «книжность» противостоит сердцу, она и есть «дурная голова» и «жестокость» [1, с. 14].

ПРИМЕЧАНИЕ

* Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Рособразования) в рамках исследовательского проекта 2.1.3 / 4705 «Универсалии русской литературы (XVIII – начало XX в.)».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Джакуинта Р.* У нас мечтатели и подлецы. О «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского // Русская литература. 2002. № 3. С. 3–18.
2. *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972–1990.
3. *Одинокое В. Г.* Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1981. 144 с.
4. *Щенников Г. К.* Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987. 352 с.

REFERENCES

1. *Dzhakuinta R.* U nas mechtateli i podletsy. O «Zapiskakh iz podpol'ya» F. M. Dostoyevskogo // Russkaya literatura. 2002. N 3. S. 3–18.
2. *Dostoyevsky F. M.* Polnoye sobraniye sochineniy: v 30 t. L., 1972–1990.
3. *Odinokov V. G.* Tipologiya obrazov v khudozhestvennoy sisteme F. M. Dostoyevskogo. Novosibirsk, 1981. 144 s.
4. *Shchennikov G. K.* Dostoyevsky i russkiy realizm. Sverdlovsk, 1987. 352 s.